

Асар Эппель

И вдоволь не мог надышаться

Время, как известно, бывает озабочено своей злобой. Останкинскую башню воздвигнут нескоро. Если глядеть туда, где на фоне купоросных небес она со временем заторчит, увидишь пустое покамест небо.

Тут окраина Москвы, где проживает наша семья. А коль скоро здесь окраина, тут тебе и шпана, и травой все заросло, и корова пасется на улице, и белье с веревки могут покрасть тоже.

После дождя остаются большие лужи. Обойти их не всегда получается. Мешает корова. Остается перепрыгивать. Шпана перепрыгивает. Если при этом она успевает поглядеть на комсомолку у забора, приподнявшую юбку, чтобы прицепить отцепившийся от разлохмаченной резинки фильдекосовый чулок, перескок лужи нарушается, и шпана двумя ногами в нее обрушивается.

Брызг видимо-невидимо. Мат угодившего в лужу уголовен, корова шарахается, комсомолка приникает к забору, так и не прицепив чулок, в прыжке многое окрест видно, но Одессы не видно – хотя она всегда у нас присутствует, – только что шпана, поднимаемая пыль, отбивал чечетку и пел:

мне здесь знакомо каждое окно, здесь девушки фартовые такие, а мне уже не пить твое вино и не утюжить клешем мостовые...

В тумане скрылась милая Одесса...

Ты ж одессит, Мишка!..

А еще была откуда-то взявшаяся полуизорванная страничка:
...начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца... Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он дер-

жал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его.

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию: «Возвратить изложенного жеребца в первобытное состояние», – и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.

Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истиной и ведомый мстью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору.

– Личность моя вам знакомая? – спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.

– Видал я тебя как будто, – ответил Савицкий и зевнул.

– Тогда получайте резолюцию начштаба, – сказал Хлебников твердо, – и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом...

– Можно, – примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

– Павла, – сказал он, – с утра, слава тебе господи, чешемся... Направила бы самоварчик...

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.

– Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, – сказала она с ленивой и повелительной усмешкой, – то того вам, то другого...

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

– Целый день цепляемся, – повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

– То этого мне, а то того, – засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.

– Я еще живой, Хлебников, – сказал он, обнимаясь с казачкой, – еще ноги мои ходят, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела...

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.

– Твое дело, командир, решенное, – сказал начальник штаба. – Жеребец тебе мною возвращен, а докуки мне без тебя хватает...

Он не стал слушать Хлебникова и возвратил наконец первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье...

А дальше шли вовсе уж изодранные фрагменты невесть каких страниц, а внизу одной стояла не совсем сохранившаяся надпись: «И. Баб... сказы...».

А еще были «Два бойца», и «Шаланды, полные кефали», и «...молоденький парнишка в бушлатике морском...» Ну да, Утесов же!.. И еще я дважды побывал в ней, Одессе этой. Два раза по одному дню. В первый раз – приплыв на огромном теплоходе с кавказского берега. Теплоход на исходе ночи причалил к спящему пустому городу, по кособогу которого поднималась несказанной высоты, ширины и красоты лестница, а на ее вершине виднелся стройный медный аристократ в античной тоге. Мы же, палубные пассажиры, жутко заоченели и поэтому были раздражены и капризны.

Мимо нас проходила какая-то вставшая затемно женщина, а рядом находилась заклеенная афишами тумба. Афиши объяв-

ляли выступления футуристов, в том числе Крученыха и Маяковского.

– Твою такую-то мать! Откуда эти кадавры взялись?!

– Да это же ж не кадавры. Это же ж фильму снимают... – невозмутимо объяснила женщина...

Так я впервые услышал натуральную одесскую речь.

Во второй раз я был в Одессе тоже всего один день и весь этот день проискал троюродного брата Эдика, адрес которого дал мой московский двоюродный брат, большой фантазер.

Адрес был обстоятелен, но в некоторых частностях оставался непостижим: по нему выходило, что дом одесского родственника находится на перекрестке двух параллельных улиц, находящихся друг от друга на расстоянии квартала. Группы одесситов, собравшиеся вокруг, настаивали, что так быть не может, опровергали друг друга, предполагали невероятные адресные сочетания, но зато у них в конце концов все почему-то согласовалось.

Мама Эдика, пышная дама, сказала мне на одесском наречии, что Эдик или там, где «пароходá», или гуляет по Дерibasовской. «Пароходá» было вторым перлом одесской речи...

...из параллельных непересекающихся улиц стала возникать «милая Одесса...», а потом?

Потом был напрасный поиск каких-то неведомых девушек, якобы с нетерпением ждавших нас, но очень удивившихся нашему посещению, по какому случаю пришлось вместо них разыскивать знаменитую цирковую актрису – тогдашнюю пассию моего красавца брата (он действительно был прекрасен!). Увы, поиски оказались безуспешными...

Больше я в Одессе с тех пор не бывал, зато внимал Жванецкому, восхищался романом Жаботинского «Пятеро», ревниво ожидал мюзикла «Гамбринус», потому что сам стал автором спектакля «Биндюжник и Король», широко пошедшего по стране, включая город Одессу, который затем преобразился в двухсерийный кинофильм.

И вот... И вот я наконец стал «утюжить клешем» мостовые того города, который по-прежнему зовется Одесса, где трогательно заботились обо мне и моих коллегах, задавали лестные вопросы и ожидали исчерпывающих ответов, где я познакомился с ве-

ликолепным Жванецким, где не услышал ни звука поразительно-го одесского слога, где во все глаза глядел на высоченные деревья и жил в гостинице «Бристоль», оказавшейся декорацией тысячи и одной ночи. Где повидал новых одесситов, но, как ни старался, не встретил ни Альталены Жаботинского, ни моих драгоценных наставников Аркадия Акимыча Штейнберга, Арсения Александровича Тарковского и Семена Израилевича Липкина – вероятно, мы ходили по параллельным улицам с высокими деревьями и почему-то не достигли ни одного перекрестка.

Но перекрестки же в Одессе есть! Уж кто-кто, а я это знаю. Перекрестки попадаютя!.. У одного сейчас вольготно сидит медный Бабель и отделявает фразу из давнего своего рассказа 1918 года, что Одесса расцветет еще «ярким, собственноручно сделанным словом».

